

БЕГСТВО К БОГУ

Конец октября 1910 года
Эпилог незаконченной драмы Льва Толстого «И свет во тьме светит»

ВВЕДЕНИЕ

В 1890 году Лев Толстой начинает работать над автобиографической драмой. Не законченная им, она была опубликована посмертно и затем ставилась театрами под названием «И свет во тьме светит». Эта драма (ее незаконченность видна уже по первой сцене) есть не что иное, как описание интимнейшей семейной трагедии художника, и написана им, по-видимому, как самооправдание задуманной попытки к бегству и одновременно просьба прощения у жены, то есть является произведением, созданным в состоянии предельной душевной раздвоенности.

Себя Лев Толстой представил в прозрачно автобиографическом образе Николая Ивановича Сарынцова, и, конечно же, трагедию судьбы героя нельзя воспринимать как художественный вымысел. Несомненно, создавая драму, Лев Толстой искал пути решения вопросов, которые поставила перед ним жизнь. Но ни в этом произведении, ни в своей жизни (ни тогда, в 1890 году, ни десятью годами позже, в 1900 году) Толстой не нашел решения этим противоречиям, не обрел мужества завершить жизнь в согласии со своим учением. Из-за этой покорности судьбе художник так и не завершил драму — герой совершенно растерян, он простирает руки к Богу, умоляя Небесного Отца заступиться за него, помочь ему покончить с раздвоенностью личности.

Последний акт этой трагедии Толстой так и не написал, но — а это намного важнее — он пережил его. В конце октября 1910 года колебания души, терзавшие писателя четверть века, наконец кончились кризисом освобождения. После нескольких чрезвычайно драматичных столкновений Толстой уходит из семьи, уходит как раз вовремя, чтобы найти ту прекрасную и идеальную смерть, которая освятит его судьбу, даст ей совершенную форму.

Ничто не кажется мне более естественным, чем присоединение прожитого, пережитого писателем конца трагедии к уже написанному им фрагменту автобиографии. Это и только это пытался я сделать, соблюдая максимальную историческую достоверность, испытывая глубокое благоговение перед фактами и документами. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя способным закончить этим эпилогом исповедь Льва Толстого, я не дописываю произведение, нет, я просто хочу служить ему. Мою попытку не следует рассматривать как завершение недописанного — это самостоятельный эпилог незаконченного произведения, эпилог неразрешенного конфликта, предназначенный единственно для того, чтобы дать незаконченной трагедии торжественный заключительный аккорд. И если это удалось, то задача решена, усилия потрачены не зря.

Если этот эпилог пожелают поставить на сцене, следует иметь в виду, что между четвертым актом драмы «И свет во тьме светит» и этим эпилогом пролегли 16 лет. Это должно быть видно по внешнему облику Льва Толстого. Образцом могут служить прекрасные портреты последнего года его жизни, особенно тот, который сделан во время пребывания писателя в монастыре Шамордина у сестры*, а также его фотография на смертном одре. И рабочая комната во всей своей потрясающей простоте должна быть воспроизведена исторически точно. С чисто сценической точки

зрения я хотел бы, чтобы этот эпилог (где Толстой не скрывается более за образом своего двойника Сарынцова) шел за четвертым актом незаконченной пьесы «И свет во тьме светит» после относительно большого антракта. Самостоятельная же постановка эпилога представляется мне нецелесообразной*.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Лев Николаевич Толстой (на восемьдесят третьем году жизни).

Софья Андреевна Толстая, его жена.

Александра Львовна (Саша), их дочь.

Секретарь*.

Душан Петрович, домашний доктор, друг Толстого.

Иван Иванович Озолин, начальник станции Астапово.

Кирилл Григорьевич, Полицмейстер станции Астапово.

Первый студент.

Второй студент.

Три пассажира.

Действие первых двух сцен протекает в последние дни октября 1910 года в рабочей комнате дома Толстых в Ясной Поляне, последней — 31 октября, на вокзале станции Астапово.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Конец октября 1910 года в Ясной Поляне. Рабочая комната Толстого, простая, без украшений, в точном соответствии с известными ее фотографиями. Секретарь вводит двух студентов. Они одеты по-простонародному, в черные косоворотки, молоды, с энергичными лицами. Двигаются свободно, скорее самоуверенны, чем застенчивы.

Секретарь. Садитесь, пожалуйста. Лев Николаевич сейчас выйдет. Но прошу вас, помните о его возрасте! Лев Николаевич очень любит спорить и часто забывает, что это утомляет его.

Первый студент. У нас ко Льву Николаевичу мало вопросов — собственно говоря, один, правда, очень важный и для нас, и для него. Обещаю вам быть немногословным — если только мы сможем говорить свободно.

Секретарь. Безусловно. Чем меньше церемоний, тем лучше. И не говорите ему «ваша светлость», он терпеть этого не может.

Второй студент (смеясь). Этого вам опасаться не следует, все что угодно, только не это.

Секретарь. Он уже поднимается по лестнице.

Толстой входит быстрыми, легкими шагами, он нервен, несмотря на возраст — подвижен. При разговоре от нетерпения, в поисках нужного слова часто вертит в руке карандаш или мнет лист бумаги. Быстро подходит к студентам, протягивает им руку, остро и пронизательно вглядываясь в лицо каждого, затем садится напротив них в клеенчатое кресло.

Толстой. Это вас, не правда ли, прислал ко мне комитет... (Просматривает письмо.) Извините, я забыл ваши имена...

Первый студент. Наши имена не имеют значения. Мы пришли к вам — двое от сотен тысяч.

Толстой (пристально всматриваясь в их лица). У вас есть вопросы ко мне?

Первый студент. Один вопрос.

Толстой. А у вас?

Второй студент. Тот же самый. У нас у всех к вам только один вопрос, Лев Николаевич, у нас, у всей революционной молодежи России, другого вопроса нет: почему вы не с нами?

Толстой (очень спокойно). Думаю, я понятно объяснил это в книгах и в некоторых письмах, уже доступных обществу. Я не знаю, читали вы мои книги?

Первый студент (взволнованно). Читали ли мы ваши книги? Странно, что вы нас об этом спрашиваете. Читать — это не то слово. С самых детских лет мы жили вашими книгами, а едва повзрослели — ваши книги пробудили наши сердца. Никто иной, именно вы научили нас видеть несправедливость распределения материальных благ между людьми — ваши книги, именно они, отвратили наши сердца от государства, церкви, царя, который поощряет бесправие, а не защищает людей от него. Вы, именно вы, пробудили нас жизни посвятить делу уничтожения несправедливости на земле.

Толстой (хочет прервать). Но не силой...

Первый студент (не сдерживаясь, перебивает). С тех пор как мы научились русскому языку, нет у нас человека более близкого, чем вы. Когда мы спрашивали себя, кто покончит с этим бесправием, то отвечали: Он! Когда мы спрашивали себя, кто уничтожит эту низость, мы отвечали: Он сделает это, Лев **Толстой**. Мы были вашими учениками, вашими слугами, вашими рабами, да я, кажется, готов был тогда умереть по малейшему вашему знаку, и решишь я несколько лет назад переступить порог этого дома, то пал бы ниц перед вами, как перед святым. Вот кем всего несколько лет назад вы были для нас, Лев Николаевич, для сотен тысяч, для всей русской молодежи — и мне, всем нам, бесконечно горько, что с тех пор вы отдалились от нас, едва ли не стали нашим противником.

Толстой (мягче). И что, полагаете, должен я сделать, чтобы остаться близким вам?

Первый студент. Я не настолько самонадеян, чтобы поучать вас. Вы сами знаете, что отдалились от нас, от всей русской молодежи.

Второй студент. Что же, почему б и не сказать, что думаем, дело наше слишком серьезно, чтобы обмениваться одними любезностями. Откройте, наконец, глаза, не будьте безразличны к чудовищным преступлениям правительства, творящего беззакония с народом. Встаньте, наконец, из-за письменного стола и открыто, безоговорочно перейдите на сторону революции. Вы знаете, с какой жестокостью подавляется наше движение, людей, гниющих в тюрьмах, теперь больше, чем листьев в вашем саду. А вы, вы смотрите на все это, пишете, вероятно, так говорят, время от времени в английскую газету какую-нибудь статью о святости человеческой жизни. Но сами-то вы знаете, что слова против этого кровавого террора уже не помогают, знаете так же хорошо, как и мы, что теперь нужна только революция, только полный переворот, и ваше слово для этой революции равносильно целой армии. Вы сделали нас революционерами, а теперь, когда час настал, плод созрел, вы деликатно отворачиваетесь и тем самым оправдываете силу!

Толстой. Я никогда не оправдывал насилие, никогда! Вот уж тридцать лет, как оставил я свою работу только для того, чтобы бороться с преступлениями всех власть имущих. Вот уж тридцать лет — вас еще на свете не было — я требую более решительно, чем вы теперь, не только улучшений, но совершенно нового порядка в социальных отношениях...

Второй студент (прерывая). Ну и что? Что дало это вам, что дали нам эти тридцать лет? Плети духоборам*, последовавшим вашему посланию, и шесть пуль в грудь. Что улучшилось в России под воздействием ваших кратких увещаний, под воздействием ваших книг и брошюр? Неужели вам не ясно, что, внушая народу смирение и терпение, вселяя в него надежды на пришествие Христа, вы помогаете притеснителям? Нет, бесполезно призывать к любви этих заносчивых людей. Они, эти царские холопы, и рубля не дадут Христа ради, пяди земли не уступят, пока мы не схватим их за глотку. Более чем достаточно ждал народ их братской любви. Мы не намерены ждать еще, пробил час для дела.

Толстой (волнуясь). Я знаю, в своих прокламациях вы называете это даже «святым делом», святым делом — «возбуждать ненависть». Но я не знаю ненависти, я не хочу знать ее, даже ненависти к тем, кто виноват перед нашим народом. Ибо совершающий зло более несчастен в своей душе, чем страдающий от зла — я жалею его, ненавидеть же не могу.

Первый студент (гневно). А я ненавижу всех, кто творит несправедливость над людьми,— ненавижу каждого из них, и нет им пощады, кровавым извергам. Нет, Лев Николаевич, никогда не научите вы меня жалости к этим преступникам.

Толстой. И преступник — брат мне.

Первый студент. Даже будь он моим братом, сыном моей матери, его, виновного в страданиях человечества, я убил бы как бешеную собаку. Нет никакой жалости к тем, кто безжалостен! И покоя на русской земле не будет, пока трупы царя и его приближенных не лягут в нее; ни человеческого, ни нравственного порядка не будет, пока мы не победим их.

Толстой. Насилием не добиться никакого нравственного порядка, так как любое насилие неизбежно порождает насилие. Едва захватив оружие, вы тотчас же создадите новую деспотию. Не разрушите вы ее, а укрепите на вечные времена.

Первый студент. Но против насилия иного средства, кроме разрушения его, нет.

Толстой. Допустим; но никогда нельзя применять средство, которое ты осуждаешь. Истинная сила, поверьте мне, отвечает на насилие не насилием, она делает его беспомощным своей мягкостью. В Евангелии сказано...

Второй студент (перебивая). Ах, оставьте Евангелие. Попы, словно водкой, давно одурманивают им народ. Вот уж две тысячи лет длится такое — и еще никому это не помогало, иначе мир не был бы залит кровью, не страдал бы непереносимо. Нет, Лев Николаевич, библейскими изречениями не перебросить мосты через пропасть между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между господами и рабами: слишком много горя разделяет их. Сотни, нет, тысячи верящих в правду, готовых помочь близким людей томятся в тюрьмах и на каторжных работах в Сибири, завтра их будет больше, десятки тысяч. И я спрашиваю вас: должны ли миллионы всех этих ни в чем не повинных людей продолжать страдать ради горстки виновных?

Толстой (сосредоточенно). Пусть лучше страдают они, чем вновь прольется кровь; в страданиях невинных — добро; эти страдания могут убить несправедливость.

Второй студент (крайне возбужденно). Добром называете вы бесконечные, тысячелетие длящиеся страдания русского народа? Пройдите по тюрьмам, спросите тех, спины которых исполосованы нагайками, тех, кто голодает в наших городах и деревнях, действительно ли добром является страдание.

Толстой (гневно). Конечно, оно лучше, чем ваше насилие. Неужели вы действительно считаете, что с вашими бомбами и револьверами на этой земле можно окончательно похоронить зло? Нет, тогда в вас самих коренится зло, и, повторяю вам, несравненно лучше страдать за убеждения, чем убивать за него.

Первый студент (тоже гневно). Ну, если уж так хорошо и полезно страдать, так почему же вы сами не страдаете? Почему вы всегда превозносите мученичество других, а сами сидите в собственном теплом доме, еду подают вам на серебре, а ваши мужики — я видел это — ходят в лаптях и полуголодные мерзнут в холодных избах? Почему секли кнутами и мучили из-за вашего учения духовоборов, а не вас? Почему вы не бросите, наконец, этот графский дом, не пойдете на дорогу в мороз, в пронизывающий ветер, в дождь, чтобы познать эту якобы восхитительную нужду? Почему вы все время только говорите, вместо того чтобы самому поступать, как предписывает ваше учение, почему не дадите наконец-то своим поведением пример?*

Толстой отшатывается. Секретарь подбегает к студенту и хочет сердито одернуть его, но Толстой уже взял себя в руки и мягко отстраняет секретаря.

Толстой. Перестаньте! Вопрос, обращенный этим юношей к моей совести, был правильно... был правильным, отличным, действительно нужным вопросом. Я постараюсь искренне ответить на него. (Делает небольшой шаг к студентам, медлит, едва сдерживает себя, голос у него хриплый, говорит он срываясь.) Вы спрашиваете меня, почему я сообразно с моим учением и моими словами не беру на себя страдания? Отвечаю вам на это с величайшим стыдом: потому что до сих пор я уклонялся от выполнения самого святого долга моего, потому что... потому что... слишком труслив я, слишком слаб или слишком неискренен, потому что я низкий, ничтожный, грешный человек... потому что Бог до сегодняшнего дня не дал мне сил свершить то, что следует сделать безотлагательно. Ужасное говорите вы моей совести, юноша, незнакомый мне человек. Я знаю, что не сделал и тысячной доли того, что требуется сделать, со стыдом признаю, что уже давно должен был покинуть роскошь этого дома, бросить жалкий образ моей жизни, который, чувствую, греховен, мне давно следует именно так, как вы сказали, странником пойти на дорогу, и нет у меня иного ответа, как тот, что я до глубины души стыжусь и угнетен своей низостью.

Студенты отступили на шаг и, пораженные, молчат. Пауза.

(Продолжает еще более тихим голосом.) Но, возможно... возможно, страдаю я все же... возможно, страдаю я как раз потому, что не могу быть сильным и достаточно честным, чтобы сдержать свое слово перед человечеством. Возможно, страдания моей совести потому и ужаснее, мучительнее, что Бог именно этот крест приуготовил мне, сделал более мучительным пребывание в этом доме, нежели заключение в тюрьме с кандалами на ногах... Но вы правы, эти страдания другим пользы не приносят, ведь испытываю их только я один, да к тому же еще и чванюсь этими страданиями, горжусь ими.

Первый студент (пристыженно). Прошу прощения, Лев Николаевич, если я в пылу спора перешел на личности.

Толстой. Нет, нет, напротив, я благодарен вам! Тот, кто будит нашу совесть, даже кулаками, делает нам добро.

Молчание.

(Продолжает спокойно.) Есть у вас обоих еще вопросы ко мне?

Первый студент. Нет, это был единственный вопрос. Какое несчастье для России и всего человечества, что вы отказываете нам в помощи. Никому, кроме вас, не сдержать этого переворота, этой революции, и я чувствую, она будет ужасной, несравненно ужаснее тех, которые когда-либо свершались на земле. Люди, которым определено ее свершить, будут людьми твердыми, людьми беспощадной решимости, людьми без сострадания. А если бы вы возглавили нас, то ваш пример вдохновил бы миллионы и жертв было бы меньше.

Толстой. Но окажись я повинен в смерти одного лишь человека, я никогда не смог бы оправдаться перед своей совестью.

С нижнего этажа раздаются удары домашнего гонга.

Секретарь (Толстому, пытаясь закончить разговор). Приглашают к обеду.

Толстой горечью). Да, есть, болтать, есть, спать, отдыхать, болтать — так проводим мы нашу праздную жизнь, а другие тем временем работают и служат этим Богу. (Вновь поворачивается к молодым людям.)

Второй студент. Значит, ничего, кроме вашего отказа, мы нашим друзьям не принесем? И вы не скажете нам ни слова ободрения?

Толстой (внимательно всматриваясь в него, подумав). Скажите от моего имени вашим товарищам следующее. Я люблю и уважаю вас, молодые люди России, за то, что вы так сильно страдаете вашим братьям и дабы облегчить их жизнь готовы отдать свою. (Его голос становится суровым, сильным и резким.) Но я не могу следовать за вами и отказываюсь быть с вами, потому что вы отрицаете братскую, человеческую любовь ко всем людям мира.

Студенты молчат. Затем Второй студент решительно выступает вперед и говорит резко.

Второй студент. Мы благодарны вам за то, что вы приняли нас, благодарны за вашу откровенность. Я никогда, верно, не встречусь с вами больше — так разрешите мне, маленькому, неизвестному человеку, сказать на прощание откровенные слова. Вы заблуждаетесь, Лев Николаевич, думая, что отношения между людьми могут сами улучшиться через любовь, хотя, может быть, это и справедливо для богатых. Но с детства голодающие, всю жизнь томящиеся под властью своих господ устали ждать, пока с христианского неба снизойдет на них эта самая братская любовь — они больше верят своим кулакам. И на пороге вашей смерти скажу вам, Лев Николаевич, так: мир еще захлебнется в крови, не только господа, но и дети их будут перебиты, разорваны на куски, чтобы и от них земля не могла более ожидать зла. Пусть вас минет судьба увидеть своими глазами плоды вашего заблуждения, я желаю вам это от всего сердца. Пусть Бог ниспошлет вам спокойную смерть!

Толстой отшатывается, он испуган резкостью пылкого юноши. Затем берет себя в руки, подходит к нему и говорит очень просто.

Толстой. Благодарю вас, особенно за ваши последние слова. Вы пожелали мне то, о чем я вот уже тридцать лет с тоской грежу — смерть в мире с Богом и всеми людьми.

Оба студента кланяются и уходят; Толстой долго смотрит им вслед, затем начинает возбужденно ходить взад и вперед.

(Говорит восторженно секретарю.) Что за удивительные юноши, как смелы, как горды и сильны эти молодые люди России! Как великолепна эта верящая, пылкая молодость! Такими я знал их под Севастополем, шестьдесят лет назад; именно с таким свободным и дерзким взором шли они на смерть, на любое опасное дело — упрямо, готовые с улыбкой умереть за какой-нибудь пустяк, из одной увлеченности отдать свою жизнь, юную, удивительную жизнь за полый орех, за пустые слова, за ложную идею. Удивительна эта вечная русская юность! И служит она ненависти и убийству как святому делу, со всем жаром, всеми своими силами! И все же они сделали мне добро, эти оба юноши, они действительно правы, мне надо наконец собраться с духом, освободиться от слабости, стать хозяином своего слова! В двух шагах от могилы, а все медлю! Действительно, истине можно учиться только у юности, только у юности!

Дверь распаивается, в комнату, подобно резкому сквозняку, врывается возбужденная, раздраженная графиня Софья Андреевна. Движения ее неуверенны, глаза беспрестанно и тревожно перебегают от предмета к предмету. Чувствуется, что, говоря, она думает о другом, и снедает ее какое-то внутреннее беспокойство. Она намеренно смотрит мимо секретаря, он для нее — пустое место, и говорит, обращаясь только к мужу. За ней быстро входит Саша, ее дочь, создается впечатление, что она следует за матерью, оберегая ее.

Графиня. Бил гонг к обеду, вот уж полчаса внизу сидит редактор «Дейли телеграф» по поводу твоей статьи против смертной казни, а ты заставляешь его ждать из-за этих студентов. Что за бестактный, бесцеремонный народ! Когда слуга спросил, приглашал ли их к себе граф, один ответил: «Нет, нас никакой граф не приглашал. Лев Толстой пригласил нас». И ты разговариваешь с такими самонадеянными молокососами, с мальчишками, которые хотят такой же неразберихи в мире, что в их головах! (Беспокойно осматривает комнату.) Какой здесь беспорядок, книги на полу, пыль кругом, действительно стыдно, если войдет порядочный человек. (Подходит к креслу, трогает его.) Совершенно порвана клеенка, просто срам, нет, невозможно смотреть на это. К счастью, завтра здесь будет обойщик из Тулы, он сразу же займется этим креслом. (Никто ей не отвечает, она беспокойно осматривается.) Пойдем, пожалуйста! Нельзя так долго заставлять его ждать.

Толстой (бледный, очень беспокойно). Я сейчас приду, мне тут надо... кое-что сделать... Саша поможет мне. Займи, пожалуйста, гостя, извинись за меня перед ним, я очень скоро приду.

Графиня идет, окинув комнату подозрительным взглядом. Едва она выходит, Толстой бросается к двери и быстро закрывает ее на ключ.

Саша (испуганная его порывистостью). Что случилось?

Толстой (в чрезвычайном возбуждении, прижав руку к груди, запинаясь). Обойщик завтра... Слава богу, еще есть время... Слава богу.

Саша. Что произошло, папа?

Толстой (взволнованно). Нож, скорее нож или ножницы...

Удивленный Секретарь берет с письменного стола ножницы для бумаги и передает их ему.

Толстой (с нервной поспешностью, время от времени боязливо поглядывая на дверь, начинает расширять рваный участок обшивки кресла, беспокойно шарит руками в конском волосе набивки и, наконец, вытаскивает запечатанный конверт)

Вот — не правда ли?.. Просто смешно... смешно и невероятно, прямо как в скверном французском бульварном романе... стыд и срам... Я, находясь в здравом уме, должен на восемьдесят третьем году жизни в собственном доме прятать самые важные для меня бумаги, потому что в моей комнате все что-то ищут, потому что за мной всегда кто-то шпионит, каждое мое слово подслушивают, каждую тайну выслеживают. Какой стыд, какой ад для меня в этом доме, какая ложь кругом! (Немного успокоившись, вскрывает конверт и читает письмо. Обращается к Саше.) Это письмо я написал тринадцать лет назад*, когда должен был уйти от твоей матери из этого адского дома. Это было прощание с ней, на уход же у меня тогда не достало мужества. (Письмо шуршит в дрожащих руках, он читает вполголоса, для себя.) «...Но нельзя продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать — уйти... Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделал вам больно, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня». (Тяжело вздохнув.) О, тринадцать лет прошло с тех пор, тринадцать лет продолжал я мучиться, и каждое слово этого письма — истинная правда, как тогда, и нынешняя моя жизнь такая же малодушная и скверная. Я все еще не ушел, все еще жду и жду, и не знаю чего. Я все и всегда ясно знал и понимал и всегда поступал неправильно. Всегда был слишком слаб, всегда безволен с ней. Письмо я спрятал здесь, словно гимназист грязную книжонку от учителя. А завещание, в котором я просил ее тогда подарить человечеству право на мои произведения, передал ей в руки только потому, что хотел иметь в доме мир, вопреки миру с моей совестью.

Пауза.

Секретарь. А как вы считаете, Лев Николаевич, позвольте задать вопрос... как вы считаете, если бы... если бы Бог призвал вас к себе... было бы выполнено это ваше последнее, настоятельное желание, чтобы семья отказалась от прав на ваши произведения?

Толстой (испуганно). Само собой разумеется... то есть... (Беспокойно.) Нет, не знаю... Как думаешь ты, Саша?

Саша отворачивается и молчит.

Боже мой, я не думал об этом. Или нет: опять, опять я правдив не до конца — нет, я только хотел не думать об этом, опять я уклонился, как всегда уклоняюсь от любого ясного и прямого решения. (Пристально смотрит на секретаря.) Нет, я знаю, определенно знаю, и жена, и сыновья так же мало будут уважать мою последнюю волю, как сейчас не уважают мою веру и мой духовный долг. Они станут торговать моими произведениями, и после моей смерти я окажусь лжецом перед человечеством. (Делает решительный жест.) Но этого не должно случиться, этого не может быть. Наконец-то должна появиться ясность. Как сказал сегодня этот студент, этот правдивый, искренний человек? Действий требует мир от меня, конечной честности, ясного, чистого, недвусмысленного решения — это был знак! В восемьдесят три года нельзя более, закрывая глаза, прятаться от смерти, надо смотреть ей в лицо и ответственно принимать свои решения. Да, хорошо предостерегли меня эти незнакомые люди: бездеятельность скрывает собой только трусость души. Ясным следует быть и правдивым в восемьдесят три года, когда вот-вот пробьет твой последний час. (Повернувшись к секретарю и дочери.) Саша и Владимир Георгиевич, завтра я пишу завещание, в котором ясно, однозначно и бесспорно будет сказано, что все доходы от моих сочинений, все нечистые деньги, деньги, которые можно на них нажить, я дарю всем, всему человечеству — никакого торгашества не должно быть со словом, сказанным или написанным мною всем людям, продиктованным моей совестью. Приходите завтра утром со вторым свидетелем — мне нельзя больше тянуть, смерть в любой момент может остановить мою руку.

Саша. Папа,— нет, я не хочу отговаривать, но боюсь трудностей, если мама увидит нас здесь вчетвером. Она сразу заподозрит неладное и, возможно, поколеблет в последний момент твою волю.

Толстой (подумав). Ты права! В этом доме мне не сделать ничего чистого, ничего правильного, вся жизнь здесь становится ложью. (Секретарю.) Будьте завтра в одиннадцать утра в лесу перед Грумонтом у большого дерева, что слева за ржаным полем. Я выеду верхом на прогулку, и мы встретимся там. Приготовьте все, и, надеюсь, Бог даст мне крепости, я освобожусь наконец от последних оков*.

Вновь слышны громкие удары обеденного гонга.

Секретарь. Но графиня не должна ничего заметить, иначе все пропадет.

Толстой (тяжело вздохнув). Ужасно вечно притворяться, вечно прятаться. Хочешь быть правдивым перед миром, хочешь быть правдивым перед Богом, хочешь быть правдивым перед самим собой и не можешь быть правдивым перед женой и детьми! Нет, так жить невозможно, так жить невозможно!

Саша (испуганно). Мама!

Секретарь быстро поворачивает ключ в двери, Толстой, чтобы скрыть волнение, идет к столу и становится спиной к входящей графине.

Толстой (со стоном). Ложь в этом доме отравляет меня — ах, если б хоть раз можно было оставаться правдивым до конца, правдивым хотя бы перед лицом смерти!

Графиня (поспешно входит). Почему вы не идете? Всегда ты опаздываешь.

Толстой (поворачиваясь к ней, лицо его почти спокойно, он говорит медленно, с подчеркиванием, понятным лишь посвященным). Да, ты права, я всегда и во всем

опаздываю. Но важно только одно — что у человека остается все же время поступить правильно.

СЦЕНА ВТОРАЯ. Та же комната. Поздняя ночь следующего дня.

Секретарь. Вам следовало бы сегодня лечь раньше, Лев Николаевич, вы устали после волнений и длительной поездки верхом.

Толстой. Нет, я совсем не устал. Усталым делают человека только колебания и неуверенность. Каждое действие освобождает, даже плохое действие лучше бездейственности. (Ходит по комнате.) Не знаю, правильно ли я сегодня вел себя, мне следует спросить у совести. То, что я отдал свои произведения всем, сняло с души тяжелый камень, но, наверно, мне следовало сделать завещание не тайно, а открыто, перед всеми, мужественно и убежденно. Возможно, я сделал недостойно то, что ради правды надо было сделать открыто,— но, слава богу, это уже сделано, еще один шаг в жизни, еще на шаг ближе к смерти. Теперь остается самое тяжелое, последнее: в нужный час забраться в лесную чащу, забраться, как зверю, когда приходит конец; в этом доме моя смерть будет несправедливой, как и жизнь. Мне восемьдесят три года, а все никак, все никак не собраться с силами, чтобы вырваться из плена земного,— и, возможно, я упущу этот час.

Секретарь. Кто знает свой час! Знали бы люди его, все было бы хорошо.

Толстой. Нет, Владимир Георгиевич, совсем нехорошо было бы это. Слышали вы старую легенду, мужик один рассказал мне, как Христос отнял у человека знание своего смертного часа? Раньше каждый знал, когда умрет, и вот Христос, придя на землю, увидел, что иные мужики не работают на своей земле и живут, словно грешники. Он стал упрекать такого в лени, но бедняга ворчал одно: для кого сеять, если до жатвы он не доживет. И понял Христос, что это плохо, когда люди заранее знают о своей смерти, и лишил их этого знания. С тех пор должны мужики ухаживать за своей землей до последнего часа, как будто они будут жить вечно, и это правильно, так как только в работе человек обретает свою частицу вечности. Вот и я хочу сегодня тоже (показывает на свой дневник) отработать свой дневной урок.

Слышны энергичные шаги, входит графиня, уже в капоте, бросает сердитый взгляд на секретаря.

Графиня. Ах, вот что... я думала, ты наконец один... я хотела поговорить с тобой...

Секретарь (с поклоном). Я иду.

Толстой. Прощайте, дорогой Владимир Георгиевич.

Графиня (едва за секретарем закрывается дверь). Вечно он возле тебя, словно репейник, висит на тебе... а меня, меня он ненавидит, он хочет отдалить меня от тебя, этот скверный, коварный человек.

Толстой. Ты несправедлива к нему, Соня.

Графиня. Я не желаю быть справедливой! Он втерся между нами, украл тебя у меня, отдалил тебя от твоих детей. С тех пор как он появился в доме, я уже ничего не значу и ты сам принадлежишь всему миру, только не нам, твоим близким.

Толстой. Если бы это было так! Ведь Бог хочет, чтобы все принадлежало всем и чтобы человек ничего не оставлял себе и своим.

Графиня. Да, я знаю, это он внушает тебе, этот вор, похитивший добро у моих детей, я знаю, он возбуждает тебя против всех нас. Поэтому я не желаю более терпеть в доме этого интригана, не желаю видеть его.

Толстой. Но, Соня, ты же знаешь, он нужен мне для работы.

Графиня. Ты найдешь сотню других! (Протестующе.) Я не выношу его близости. Я не желаю, чтобы этот человек был между мной и тобой.

Толстой. Соня, хорошая моя, прошу тебя, не волнуйся. Иди сюда, сядь, давай поговорим друг с другом мирно — как в те времена, когда наша совместная жизнь только начиналась. Подумай, Соня, как мало хороших слов остается нам сказать друг другу, как мало хороших дней нам осталось!

Графиня беспокойно осматривается и, крайне возбужденная, садится.

Послушай, Соня, мне нужен этот человек — может быть, только потому, что я слаб в вере, ведь, Соня, я не так силен, как мне хотелось бы. Правда, каждый день подтверждает мне, что многие тысячи людей во всем мире разделяют мою веру, но пойми, таково наше земное сердце: чтобы сохранить уверенность, ему нужна живая, зримая, осязаемая, ощутимая любовь хотя бы одного человека. Возможно, святые в стародавние времена и могли жить в своих кельях без помощников, не падать духом без сострадающих им, но, видишь ли, Соня, я-то ведь не святой — я всего лишь очень слабый и уже старый человек. Мне нужно, чтобы возле меня был человек, разделяющий мою веру, ту веру, которая является сейчас самым дорогим, самым ценным в моей старой, одинокой жизни. Конечно, самым большим счастьем для меня было бы, если б ты сама, ты, которую я вот уже сорок восемь лет глубоко почитаю, если б ты разделяла мои религиозные убеждения. Но, Соня, ты никогда не хотела этого. На то, что мне более всего дороже, ты смотришь без любви и, боюсь, даже с ненавистью.

Графиня делает протестующее движение.

Нет, Соня, пойми меня, я не упрекаю тебя. Мне и миру ты дала то, что могла дать, много материнской любви, забот, неизменно доставляя окружающим радость, могла ли ты чем-то пожертвовать ради убеждений, которых ты не принимаешь душой. Как могу я обвинять тебя в том, что ты не разделяешь устремления моей души, — ведь духовная жизнь человека, его сокровенные мысли всегда являются тайной между ним и его Богом. И вот, смотри, наконец-то в мой дом пришел человек, который сам страдал до этого в Сибири за свои убеждения и разделяет сейчас мои, мой помощник и дорогой мне человек, он помогает мне, поддерживает меня в моей внутренней жизни — почему ты не хочешь оставить его мне?

Графиня. Потому что он отдалил тебя от меня, а я не в силах это вынести, не в силах вынести. Это сводит меня с ума, делает меня больной, так как я чувствую, что все, чем вы занимаетесь, все это против меня. И сегодня опять, в полдень я увидела, как он прячет какую-то бумагу, и никто из вас не мог смотреть мне в глаза: ни он, ни ты, ни Саша! Все вы что-то утаиваете от меня. Да, я знаю, я знаю, вы сделали что-то недоброе мне.

Толстой. Я надеюсь, что Бог убережет меня, стоящего у могилы, от того, чтобы я сознательно причинил кому-нибудь зло.

Графиня (со страстью). Значит, ты не отрицаешь, что вы сделали тайком... что-то против меня. О, ты же знаешь, что не можешь лгать мне, как другим.

Толстой (сильно вспыхив). Я лгу другим? И это говоришь мне ты, из-за которой я предстал перед всеми как лжец. (Сдерживая себя.) Но я надеюсь перед Богом, что сознательно грех лжи не совершил. Возможно, мне, старому человеку, не дано все время говорить только правду, но все же, думаю, что лжецом, обманщиком людей я из-за этого не стал.

Графиня. Тогда скажи, что вы сделали — что это было за письмо или бумага... не мучай меня более...

Толстой (очень мягко, подойдя к ней). Софья Андреевна, не я мучаю тебя, ты сама мучишь себя, потому что больше не любишь. Была бы у тебя любовь ко мне, было бы и доверие ко мне — доверие даже тогда, когда уже не понимаешь меня. Софья Андреевна, я прошу — всмотришься в себя: сорок восемь лет живем мы с тобой вместе! Может быть, эти многие годы нашей совместной жизни не прошли бесследно, может, у тебя все еще сохранилось немного любви ко мне: тогда собери, прошу тебя, эти искорки и раздуй огонь, попытайся опять стать такой, какой так долго была для меня, любящей, доверчивой, нежной и преданной; иногда, Соня, мне становится страшно, так изменилось твое отношение ко мне.

Графиня (потрясенная и взволнованная). Я не знаю более, какой я стала. Да, ты прав, уродливой стала я и злой. Но кто смог бы выдержать такое, видеть, как ты терзаешь себя, стараясь быть больше, чем человеком,— наблюдать это яростное, это греховное стремление жить с Богом. Ведь грехом, да, грехом является это — высокомерие, надменность, а не смирение — желание слишком приблизиться к Богу и искать истину, в которой нам отказано. Раньше, раньше все было хорошо и ясно, мы жили, как все другие люди, честно и чисто, у нас была своя работа, было свое счастье, дети росли, и наступающая старость не пугала нас. И внезапно, тридцать лет назад, поражает тебя это ужасное ослепление, эта вера, которая делает несчастным и тебя, и всех нас. И как мне быть, если я и сейчас не понимаю, какой смысл в том, что ты топишь печи, и носишь воду в дом, и шьешь скверные сапоги, ты, которого мир любит как великого писателя. Нет, у меня никак не укладывается в голове, почему наша ясная жизнь, трудолюбивая и экономная, тихая и простая, почему она внезапно стала грехом перед другими людьми. Нет, не могу я это понять, не могу, не могу.

Толстой (очень мягко). Видишь, Соня, как раз это я говорил тебе: там, где мы не понимаем, именно там должны мы силой любви доверять. Это справедливо и в отношениях с людьми, и в отношениях с Богом. Неужели ты думаешь, я приписываю себе знание конечной правды? Нет, я верю лишь тому, что то, что так честно и истово делается, из-за чего так жестоко страдают, не может совсем не иметь смысла и значения перед Богом и людьми. Так попытайся и ты, Соня, немного поверить мне в том, что ты уже более не понимаешь, доверься, по крайней мере, моей воле к правде, и все, все станет сразу хорошо.

Графиня (беспокойно). Но ты скажешь мне тогда все... ты расскажешь мне все, что вы сегодня делали?

Толстой (очень спокойно). Все расскажу, ничего не хочу более скрывать и делать тайно в те немногие дни, что осталось мне прожить. Я жду лишь, когда Сережа и Андрей вернутся, тогда я всем вам откровенно скажу, к какому решению пришел в эти

дни. А пока оставь свои подозрения, не шпионь за мной — это единственная моя просьба, Софья Андреевна, исполнишь ли ты ее?

Графиня. Да... да... непременно... непременно...

Толстой. Благодарю тебя. Смотри, как все хорошо станет, если быть откровенным и верить. Как хорошо, что мы говорили мирно и дружелюбно. Ты опять согрела мне сердце. Послушай, когда ты вошла в комнату, на твоём лице лежала тень подозрения, своим беспокойством и ненавистью оно было мне чужим, я не узнал тебя, такой ты никогда прежде не была. А теперь лицо твоё просветлело, я опять узнаю твои глаза, Софья Андреевна, они стали девичьими, как прежде, добрыми, расположенными ко мне. Иди, отдохни, любимая, уже поздно! Благодарю тебя от всего сердца. (Целует ее в лоб.)

Графиня идет, у двери она еще раз взволнованно оборачивается.

Графиня. Но ты мне все скажешь? Все?

Толстой (все еще совершенно спокойный). Все, Соня. А ты помни свое обещание.

Графиня медленно уходит, бросив беспокойный взгляд на письменный стол. *Толстой* ходит по комнате, затем садится к письменному столу, пишет несколько слов в дневник. Встает, ходит взад и вперед, вновь подходит к столу, задумчиво листает дневник, вполголоса читает написанное.

Толстой. «Я стараюсь быть как можно более спокойным и твердым по отношению к Софье Андреевне и думаю, что мне более или менее удастся успокоить ее... Сегодня я впервые увидел возможность добротой и любовью добиться от нее уступок... Ах, если бы...» (Кладет дневник, тяжело вздыхает, переходит в соседнюю комнату и зажигает там свет. Затем возвращается вновь, с трудом стягивает с себя тяжелые мужицкие сапоги, снимает блузу. Гасит свет и идет в широких штанах и рабочей рубахе в смежную комнату, свою спальню.)

Некоторое время в комнате тихо и совершенно темно. Никого на сцене нет. Глубокая тишина. Медленно, тихо-тихо открывается входная дверь в рабочую комнату. Кто-то идет босиком по совершенно темной комнате, в руке потайной фонарик, бросающий узкий луч света на пол. Это графиня. Она боязливо оглядывается, прислушивается у двери в спальню, затем, по-видимому успокоившись, крадется к письменному столу. Поставленный фонарик высвечивает белый круг посреди стола. Графиня, в свете фонарика видны лишь дрожащие руки, сначала хватается оставленную рукопись, волнуясь, начинает читать дневник, затем осторожно вынимает из ящика письменного стола одну за другой бумаги, все поспешнее роется в них, не находя нужной*. Наконец судорожным движением вновь берет фонарик в руку и бредет обратно. Ее лицо растерянно, как у лунатика. Едва она закрывает за собой дверь, *Толстой* распахивает дверь своей спальни. В руке у него свеча, она качается, так сильно возбуждение трясет старика: он наблюдал за женой. *Толстой* пытается было ринуться ей вдогонку, уже хватается ручку двери, но внезапно с усилием заставляет себя повернуться, сдержанно и решительно ставит свечу на письменный стол, идет к двери комнаты, расположенной рядом с его спальней, тихо и осторожно стучит в нее.

Толстой (тихо). Душан... Душан...

Голос Душана (из соседней комнаты). Это вы, Лев Николаевич?

Толстой. Тише, тише, Душан! И выходи скорее...

Душан выходит из соседней комнаты, он тоже полуодет.

Разбуди дочь, Александру Львовну, пусть сразу же приходит сюда. Потом беги на конюшню и прикажи Григорию запрячь лошадей, пусть делает он это тихо, чтобы никто в доме не заметил. И сам не шуми. Не надевай ботинки, последи, чтобы двери не скрипели. Мы уезжаем немедленно — нельзя терять ни минуты.

Душан быстро уходит.

Толстой садится, решительно натягивает сапоги, берет свою блузу, поспешно надевает ее, ищет какие-то бумаги и торопливо собирает их. Его движения энергичны, но порой лихорадочны. Даже теперь, когда он у письменного стола набрасывает несколько слов на листе бумаги, плечи его судорожно подергиваются.

Саша (бесшумно входя). Что случилось, папа?

Толстой. Я уезжаю, бегу... наконец... наконец-то это решено. Час назад она клялась верить мне во всем, а сейчас, в три часа ночи, тайком пробралась в мою комнату, чтобы рыться в бумагах... Но это хорошо, это очень хорошо... не ее воля была это — воля другого. Как часто молил я Бога, пусть подаст мне знак, что время пришло, — и вот знак дан, и теперь я имею право уйти, оставить ту, которая покинула мою душу.

Саша. Но куда, папа?

Толстой. Не знаю, не хочу знать... Куда-нибудь, только прочь от неправдивости этой жизни... куда-нибудь... Есть много дорог на земле, и где-то ждет уже охапка соломы или постель, на которой старый человек сможет спокойно умереть.

Саша. Я тоже поеду.

Толстой. Нет. Ты должна пока остаться, успокоить ее... ведь она потеряет голову... о, как будет она страдать, бедная!.. И виновник этих страданий — я... Но я не могу по-другому, я не могу более, иначе я задохнусь здесь. Ты останешься в доме, пока не приедут Андрей и Сережа. Только тогда отправишься вслед за мной, сначала я поеду в Шамордино, в монастырь, чтобы попрощаться с сестрой, так как чувствую, пришло время прощаний.

Душан (торопливо возвращаясь). Лошади запряжены.

Толстой. Теперь собирайся сам, Душан, захвати с собой эти бумаги...

Саша. Но, папа, необходимо взять шубу, ночью очень холодно. Я сейчас быстро соберу тебе теплую одежду...

Толстой. Нет, нет, ничего больше не нужно. Боже мой, нам нельзя медлить... я не желаю больше ждать... двадцать шесть лет жду я этого часа, этого знака... быстрее, Душан... нас может кто-нибудь задержать, помешать нам. Вот бумаги, возьми их, дневник, карандаш...

Саша. А деньги для поезда, я сейчас принесу...

Толстой. Нет, никаких денег! Я не хочу более касаться их. Меня знают на вокзале, мне дадут билет, а потом поможет Бог. Душан, быстрее идем. (Саше.) Слушай,

передай ей это письмо: это мое прощание, да простит мне она его! И напиши мне, как она перенесла мой отъезд.

Саша. Но, папа, как же писать? Едва я назову на почте имя Толстого, они сразу же узнают адрес и поедут туда. Надо взять какое-нибудь другое имя.

Толстой. Ах, вечно лгать! Вечно лгать, вечно унижать свою душу всякими тайнами... но ты права... Пойдем же, Душан... Как хочешь, Саша... это только к добру... так как же мне называться?

Саша (задумавшись на мгновение). Все депеши я буду подписывать Фролова, а адресовать буду Т. Николаеву.

Толстой (в лихорадочной спешке). Т. Николаев... хорошо, хорошо... Ну, будь здорова. (Обнимает ее.) Т. Николаев, говоришь, так должен я называться. Еще одна ложь, еще одна! Ну, Бог даст, это будет последней моей неправдой перед людьми. (Торопливо уходит.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Через три дня — 31 октября 1910 года. Зал ожидания вокзала на станции Астапово. Справа большая застекленная дверь ведет на перрон, слева — дверь поменьше в жилое помещение начальника станции Ивана Ивановича Озолина. На деревянных скамьях и вокруг стола сидят пассажиры, ожидающие скорого поезда из Данкова. Бабы в платках спят, мелкие торговцы в тулупах, несколько человек из городских сословий, вероятно чиновники, купцы.

Первый пассажир (читает газету, внезапно громко). Это он отлично проделал! Замечательную штуку выкинул старик! Никто от него такого и не ожидал уж.

Второй пассажир. Что случилось?

Первый пассажир. Удрал из своего дома Лев Николаевич, и никто не знает куда. Ночью собрался, натянул сапоги, надел шубу и так вот, ничего не взяв с собой, ни с кем не попрощавшись, уехал со своим доктором, Душаном Петровичем.

Второй пассажир А старуху оставил дома? Не шутка для Софьи Андреевны. Ему должно быть сейчас восемьдесят три. Кто мог подумать о нем такое, и куда, говоришь ты, он поехал?

Первый пассажир Это хотели бы знать и его домашние, и газетчики. Теперь они телеграфируют во все концы. Один будто видел его на болгарской границе, а другие говорят — в Сибирь поехал*. Но никто не знает правды. Здорово обделал это дельце старик!

Третий пассажир (молодой студент). Как говорите вы? Лев Толстой уехал из дома? Дайте, пожалуйста, газету, я сам прочту. (Просматривает газету.) Это хорошо, это очень хорошо, наконец-то он решился.

Первый пассажир. А чего здесь хорошего?

Третий пассажир. Потому что стыдно уж стало ему жить вопреки своим убеждениям. Долго принуждали они его корчить графа, лестью душили его голос. Наконец-то сможет теперь Лев *Толстой* говорить с людьми свободно, от всего сердца,

и Бог даст, мир узнает от него, что происходит здесь, в России, с народом. Да, хорошо это, счастье для России, что этот святой человек наконец-то спас себя.

Второй пассажир. А возможно, все, что болтают здесь, и неправда, возможно... (оглядываясь, не подслушивает ли кто-нибудь, шепчет) возможно, они просто так подстроили с газетами, чтобы сбить всех с толку, а на самом деле арестовали его и выслали!

Первый пассажир. А кому это надо убирать Льва Толстого?..

Второй пассажир. Им... всем тем, кому он встал на дороге, всем им, и Синоду, и полиции, и военным, все они боятся его. Такое случилось. Некоторые исчезали именно так — за границу, говорили потом. Но мы-то знаем, что эта «заграница» означает...

Первый пассажир (тоже тихо). Может быть, может быть...

Третий пассажир. Нет, на это они не решатся. Он одним своим словом сильнее их всех, нет, на это они не решатся, ведь они знают, мы своими кулаками выручим его.

Первый пассажир (торопливо). Осторожно... остерегайтесь... Идет Кирилл Григорьевич... уברי-ка газету...

Из-за застекленной двери, ведущей на перрон, выходит Полицмейстер Кирилл Григорьевич, он в полной форме. Пересекает сцену, подходит к двери, ведущей в помещение начальника станции, стучит.

Озолин (выходя в форменной фуражке). Ах, это вы, Кирилл Григорьевич...

Полицмейстер. Мне нужно безотлагательно переговорить с вами. Ваша супруга с вами, в комнате?

Озолин. Да.

Полицмейстер. Тогда лучше здесь. (К пассажирам, резким начальственным тоном.) Скорый поезд из Данкова сейчас подойдет; освободите зал ожидания, выходите на перрон. (Все встают и поспешно выходят. Полицмейстер — начальнику станции.) Только что получены важные шифрованные телеграммы. Установлено, что Лев Толстой позавчера приехал к своей сестре в Шамордино, в монастырь. Есть основания полагать, что он оттуда собирается ехать дальше, и теперь все поезда из Шамордина в любом направлении находятся под наблюдением полицейских агентов*.

Озолин. Но объясните мне, батюшка Кирилл Григорьевич, почему, собственно? Он не смутьян какой-нибудь, Лев Толстой, он наша гордость, сокровище нашей земли, этот великий человек.

Полицмейстер. Однако вносит больше беспокойства, представляет большую опасность, чем целая шайка революционеров. Впрочем, меня заботит одно, мне дано указание проверять каждый поезд. Но в Москве желают, чтобы наш надзор был негласным. Прошу вас, Иван Иванович, пройти на перрон вместо меня, меня каждый узнает по мундиру. Как только поезд подойдет, из него выйдет агент тайной полиции и сообщит вам свои наблюдения на участке. А я тотчас же передам их далее по инстанции.

Озолин. Будет исполнено.

Слышен шум приближающегося поезда.

Полицейстер. Разговаривайте с агентом, как со старым знакомцем, по возможности не привлекайте внимания пассажиров. Они ничего не должны заметить, надзор-то негласный. Если нам повезет, мы с вами, пожалуй, и крестики получим, ведь каждое донесение идет в Петербург, в самых верхах читать будут.

К перрону с грохотом подходит поезд. Начальник станции быстро выходит к нему. Через некоторое время с перрона через застекленную дверь появляются первые пассажиры, мужики и бабы с тяжелыми узлами и корзинами, они громко переговариваются. Некоторые остаются в зале ожидания отдохнуть или перекусить.

Озолин (неожиданно появляется в дверях, возбужденно кричит находящимся в зале ожидания). Немедленно очистить помещение! Всем! Немедленно!

Люди (недоумевая, недовольно). Почему... мы заплатили... почему нельзя оставаться в зале... Мы ждем пассажирский поезд...

Озолин (кричит). Немедленно, говорю я, немедленно все вон. (Торопливо вытесняет замешкавшихся, возвращается к застекленной двери, широко распахивает ее.) Сюда, пожалуйста, сюда вводите графа!

Входит Толстой. Слева его дочь Саша, справа Душан ведут его под руки, идет он медленно, с трудом. Воротник шубы поднят, вокруг шеи шаль, и все же видно, что все его укутанное тело мерзнет и трясется. За ним теснятся пять-шесть человек.

(К теснящимся сзади.) Не входить!

Г о л о с а. Но позвольте... мы хотели бы быть полезными Льву Николаевичу... может быть, чаю, немного коньяку...

Озолин (чрезвычайно возбужден). Никого не должно быть здесь! (Силой оттесняет их назад и запирает застекленную дверь; но все время в стекла двери видны проходящие, иные с любопытством смотрят в зал ожидания.) Не желаете ли, ваше сиятельство, немного отдохнуть? Присядьте, пожалуйста.

Толстой. Не ваше сиятельство... Слава богу, уже не сиятельство... и никогда более, до конца. (Возбужденно оглядывается, замечает людей за стеклами двери.) Прочь... прочь этих людей... хочу остаться один... всегда вокруг люди... хоть наконец-то остаться одному...

Саша спешит к двери и торопливо завешивает ее своим пальто.

Душан (тихо, начальнику станции). Нам надо тотчас уложить его в постель, в поезде у него неожиданно начался приступ лихорадки, я думаю, у него сейчас температура за сорок, ему очень плохо. Есть здесь поблизости гостиница с двумя приличными комнатами?

Озолин. Нет, ничего здесь нет. В Астапове нет гостиницы.

Душан. Но ему нужно немедленно в постель. Вы видите, как его лихорадит. Это очень опасно.

Озолин. Я почел бы, разумеется, за честь предложить Льву Николаевичу Толстому свою комнату, здесь рядом... но, извините меня... она так убога, так проста... служебное помещение, первый этаж, узкая, я не решаюсь дать в ней приют Льву Николаевичу...

Душан. Это ничего. Мы во что бы то ни стало должны немедленно уложить его в постель. (Толстому, сидящему у стола и охваченному внезапным лихорадочным ознобом.) Господин начальник станции настолько любезен, что предлагает нам свою комнату. Вам надо немедленно лечь и отдохнуть. Завтра вы опять будете бодры, и мы сможем продолжить наш путь.

Толстой. Продолжить путь?... Нет, нет, я думаю, что больше никуда не поеду... это была моя последняя поездка, и я уже у цели.

Душан (ободряюще). Пусть вас не волнует этот легкий приступ лихорадки, этот пустяк не стоит внимания. Вы немного простыли — завтра опять почувствуете себя хорошо.

Толстой. Я уже сейчас чувствую себя хорошо... очень, очень хорошо... Только нынешней ночью, это было ужасно, мне показалось, что они смогут за мной погнаться, настигнуть меня и отправить обратно в тот ад... и тут я встал и разбудил вас, так сильно меня это волновало. И все время, пока мы были в пути, не отпускал меня этот лихорадочный страх, прямо зуб на зуб не попадал... Теперь же, как я попал сюда... но где я? Никогда я здесь не был... теперь все разом переменялось... теперь я не испытываю никакого страха... Теперь им меня уже не достать.

Душан. Разумеется, нет, разумеется, нет. Вы сможете отдохнуть, лечь в постель, здесь никто вас не найдет.

Оба помогают Толстому подняться.

Озолин (подходя к Толстому). Прошу извинить меня... я могу предложить вам только очень простую комнату... мою комнату. И кровать, вероятно, тоже не очень удобная... железная кровать... Но я немедленно распоряжусь, я дам депешу, следующим же поездом сюда доставят другую кровать...

Толстой. Нет, нет, не нужно другую... Долго, слишком долго у меня было все лучше, чем у других! Чем хуже теперь, тем лучше для меня! Как же умирают мужики?... А ведь умирают тоже хорошей смертью...

Саша (помогая ему). Пошли, папа, пошли, надо отдохнуть...

Толстой (продолжая стоять). Не знаю... я устал, ты права, все члены тянет, я очень устал, и все же чего-то жду... это как если ты очень сонный, а спать не можешь, потому что думаешь о чем-то хорошем, что предстоит тебе, и не хочешь во сне потерять эту мысль... Удивительно, я никогда не чувствовал себя так... может, это уже что-то от смерти... Годы, долгие годы, я-то знаю это, я всегда испытывал страх перед смертью, страх, что не смогу лежать в своей кровати, что буду кричать, как зверь, и прятаться от смерти. А теперь, может, в этой комнате ждет меня смерть. И все равно, без всякого страха иду ей навстречу.

Саша и Душан подводят его к двери. Он останавливается и заглядывает в комнату.

Хорошо здесь, очень хорошо. Маленькая, узкая, низкая, бедная... И мне кажется, что когда-то такое мне уже приснилось, вот такая чужая постель где-то в чужом доме, кровать, на которой кто-то лежит... старый, усталый человек... подожди, как зовут его, я же написал о нем несколько лет назад, как зовут старика?... Когда-то он был богатым, а потом стал совсем бедным, и никто не знает его, и он прячется на кровати возле печки... Ах, моя голова, глупая моя голова!.. Как зовут его, этого старика?... Что когда-

то был богат, а теперь ничего у него не осталось, разве только рубаха на теле... и вот он умирает, а жены, обижавшей его, нет возле него... Да, да, вспомнил, Корней Васильев, так назвал я его в своем рассказе, этого старика. А ночью, когда он умирает, Бог пробуждает сердце его жены, и она приходит, Марфа, увидеть его еще раз... Но приходит поздно, он уж заоченел на чужой кровати, лежит с закрытыми глазами, и она не знает, сердится ли он еще на нее или простил. Она не знает, Софья Андреевна... (Как бы очнувшись.) Нет, Марфой зовут ее... я уже начинаю путаться... Да, мне надо лечь.

Саша и начальник станции провожают его дальше.

(Обращается к начальнику станции.) Спасибо тебе, чужой человек, что ты даешь мне приют в своем доме, что ты даешь мне то, что зверь имеет в лесу... и мне, Корнею Васильеву, Бог послал... (Внезапно, в сильном страхе.) Заприте хорошенько двери, никого не пускайте ко мне, не хочу более Людей возле... только одному остаться с Ним, общаться с Ним глубже, лучше, чем когда-либо в жизни...

Саша и Душан ведут его в комнату, начальник станции осторожно закрывает за ним дверь и, удрученный, стоит возле нее. Сильные удары снаружи в застекленную дверь. Начальник станции открывает ее, быстро входит Полицмейстер.

Полицмейстер. Что сказал он вам? Я должен обо всем немедленно доложить, обо всем! Он что, останется здесь, надолго ли?

Озолин. Это не знает ни он, ни кто другой. Это знает один лишь Бог.

Полицмейстер. Как смогли вы дать ему пристанище в казенном помещении? Это же ваша служебная комната, вход в нее посторонним воспрещен!*

Озолин. Лев Толстой не посторонний моему сердцу. Он ближе мне, чем брат.

Полицмейстер. Но вы обязаны были прежде испросить разрешение...

Озолин. Я спросил у моей совести.

Полицмейстер. Ну, вы тут поступили на свой страх и риск. Я немедленно докладываю о случившемся... Ужасно, какая громадная ответственность нежданно сваливается на человека! Если б хоть знать, как относятся к Льву Толстому в высших сферах...

Озолин (очень спокойно). Я думаю, в истинно высших сферах о Льве Толстом всегда были хорошего мнения...

Полицмейстер смотрит на него озадаченно. Душан и Саша появляются из комнаты, осторожно прикрывая за собой дверь. **Полицмейстер** быстро уходит.

Озолин Как вы оставили графа?

Душан. Он лежит очень тихо — никогда не видел я его лицо таким спокойным. Здесь наконец найдет он то, чего так ему недоставало,— покой. Впервые он один на один со своим Богом.

Озолин. Извините меня, простого человека, но у меня сердце дрожит от страха, я не могу понять. Зачем Бог взвалил на него такие страдания — бежать из дома, скончаться здесь, на моей убогой, жалкой постели... Как могли люди, русские люди так отнестись к этой святой душе, как смогли они так жестоко мучить его, когда его следовало бы благоговейно любить...

Душан. Именно те, которые любят великого человека, часто становятся между ним и его долгом, и от тех, кто ближе всех к нему, должен он бежать как можно дальше. Так и получилось. Эта смерть делает святой и совершенной его жизнь.

Озолин. Но... но мое сердце не может, не желает понять, почему этот человек, это сокровище нашей русской земли, должен был страдать из-за нас, людей, ведущих бездумное существование. После этого нам останется только стыдиться, что мы живем.

Душан. Не оплакивайте его, милый, хороший человек, другая — приземленная, менее яркая судьба не для его великой души. Не страдал бы он за нас, людей, не было бы никогда того Льва Толстого, каким он останется в памяти человечества.